

[Александр Чанцев](#)

Тамплиеры Советского Союза

Опубликовано в журнале *Дружба Народов*, номер 6, 2023

Этот выпуск рубрики продолжает серию предыдущих (2021—2023 гг.), посвященных альтернативным, отступающим от конвенциональных, представлениям о духовных поисках. Можно и сказать, что данная подборка, центрирующаяся на биографическом и так называемой интеллектуальной истории (будто история может развиваться абсолютно без участия интеллекта!), примыкает к нашей глобальной теме лишь сбоку, факультативно, в пандан. Возможно, это и так. Однако, как мне видится, биографии Василия Розанова, Вольфа Мессинга, Василия Налимова и Анастасии Цветаевой, не говоря об их идеях и практиках, демонстрируют крайне важную возможность — самого выживания вопреки. Вопреки истории, общепринятым представлениям и идеологии.

Быть всем сразу

Алексей Варламов. Розанов. — М.: Молодая гвардия, 2022. 501 с.

Очередная и отмеченная премиальным процессом («Большая книга») биография Алексея Варламова. Очередная книга о Розанове, коих много, а будет, очевидно, еще больше. Уж таков был этот неудобный философ, что, возможно, в неудобные времена он становится гораздо актуальнее, чем, например, к концу своей жизни и, по обстоятельствам внелитературным, понятно, на большей части прошлого нашего советского времени.

Алексей Варламов, как и в прочих своих жизнеописаниях, весьма корректен, стремится к стереоскопическому, скажем так, зрению, дать микрофон всем. Вот буквально на первых страницах, в интро: «Известно резкое письмо Леонида Андреева Горькому, где он называет Розанова “ничтожным, грязным и отвратительным человеком” и сравнивает его с “шелудивой и безнадежно погибшей в скотстве собакой”, в которую жалко бросить чистым камнем. “Ведь это же гадина, форменная гадина, отвратительно-продажная, подло-предательская, фарисейски-лицемерная”, писал Семён Венгеров Алексею Ремизову. “Редкий талант отвратительнее его”, отзывался о Розанове юный Александр Блок». На следующей же странице отзывы, что гений (Мережковский) и святой Себастьян (Венедикт Ерофеев в своем знаменитом зубоскальском рассказе, но про мученика все равно символично и симптоматично). А Блок, заметим, несмотря и на дальнейшие эстетические и личные столкновения с Розановым, и руку ему подавал, и против исключения из Вольного философского общества голосовал. Впрочем, как он голосовал, есть разные мнения — как и всегда о том, что

касается жизни Розанова. Или его смерти («он умер по-христиански» — С.Дурылин, «жил он как курица и умер как курица» — вероятно, М. Гершензон).

Адвокатствует ли Варламов? Скорее, старается восстановить справедливость. Например, что касается персонажа под стать Розанову — Аполлинарии Сусловой. Дескать, Розанов женился на ней только ради того, чтобы так — в духе его учений о поле и, как сейчас сказали бы, озабоченности, версия вполне себе имела право на существование — телесно приблизиться к любимому Достоевскому, возлюбленной которого она была. А она была исчадием ада, польстившимся на молодого студента. Черным ядом желчи обливал ее и сам Розанов, известны его строки, описывающие все, вплоть до анатомии и физиологических пристрастий Аполлинарии Прокофьевны. А вот и не совсем так все оказывается. Во-первых, она не рассказывала тогда, вообще мог не знать вначале Розанов об ее романе. Во-вторых, определенно многое эта образованная, опытная и исключительная женщина дала совсем юному Розанову. В-третьих, можно вспомнить и страстные и мучительные романы Лимонова, «у них была страсть»: писатель мучился, но никуда не уходил, черпал, возможно, в этом страдании вдохновение. Сулова же в итоге обошлась с Розановым жестче в жизни, чем он с ней в своих текстах: не давала ему развод (то есть не готова была признать, что по ее вине оный стал нужен), таким образом обрекая Розанова на величайшую трагедию его жизни — второй брак его был неофициальный, дети его многочисленные были записаны на крестных, не на него, он страдал, метался, мучился, платил тысячу рублей священнику за тайное венчание со второй женой...

Это, кстати, в тему того, что не так уж безоблачна была жизнь Розанова (о последних годах, когда собирал у кабака в Сергиевом посаде окурки, не говорим). И за обвинение в порнографии арест грозил, а уж за двоежёнство вполне можно было уехать в Сибирь на долгие годы... И если последующие герои нашей рубрики с репрессивным аппаратом столкнулись ой как непосредственно, то Розанов в каком-то смысле ходил по лезвию (для уравнивания тяжести их жизней — хотя вопрос этот морально и не менее скользок — можно еще добавить, что конец жизни встретили они в относительном благополучии, тогда как Розанов, отвергнутый и забытый, в полной нищете, в крахе быта и семьи, в смертях близких).

Начиналось же все довольно стандартно. Если не брать семью — один дед имел смутное обвинение в изнасиловании, мать вдовой жила с молодым человеком сильно ее моложе, один брат попал в сумасшедший дом, — то обычно. Гимназия, университет, преподавание. Как отец еще одного Василия Васильевича, философа Налимова, о котором мы поговорим немного дальше, Розанов преподавал по городам, не в столице. Старинный, ленивый, мещанско-чиновничий Брянск — описание его сходно с тем, как выглядел Нижний Новгород времен Василия Налимова-старшего, то есть тех же самых лет. Конечно, Розанову там было тесно. Отсюда — и из личных комплексов, патологий, фобий и влечений? — какие-то дикие строки в мемуарах его учеников. Как он третировал их, занимался, учитель, настоящим буллингом (термин, кстати, можно было взять японский — идзимэ возникло даже раньше западного аналога) учеников, вертел им уши, колол, щипал, при этом чуть ли не онанировал... И тут любопытно, что один из мемуаристов — Пришвин, которого, после конфликта, Розанов выгнал из гимназии в Ельце. В результате же Пришвин стал впоследствии его «фанатом», стремился в ближний круг Розанова, уважал и чуть ли не боготворил, имел (повторяется случай приближения к писателю через женщину?) платонический роман с одной из его дочерей после смерти Розанова... Одним словом, «все

сложно», как предлагает описать свои отношения одна из социальных сетей, или «все не так однозначно», что уже из нынешней политики возникло.

Появился, как у Налимова Солонович, у Розанова и наставник-покровитель. Даже несколько. Страхов, Рачинский, отчасти Суслов. Благодаря им Розанов к тому времени чиновник или, в нынешних понятиях, менеджер из младших, вошел в столичную журналистику. То есть ворвался. И развернулся полностью. Распростер свои черные и мускусные крылья.

И выпестовалась философия (кстати, в отношении того, что Розанов был настоящим, полноценным философом, Варламов тоже отмечает, что этот момент всегда в тени¹ — и остается он таковым и в этой книге, разбора собственно философских работ здесь нет), мировидения его. Это то, что назвать бы — философией жизни, философией быта, быта как бытия (и на время отстраниться от всех последующих коннотаций этих понятий). «Станем же поддерживать друг друга, жалеть и не осуждать за взаимные недостатки, чтобы и будущее стало для нас не худо», — писал он своей второй жене Варваре Дмитриевне Бутягиной. И отмечает: «Чувствую себя очень несчастным от неспособности сделать чье-нибудь счастье. Мое здоровье ничего себе, и, перестав заниматься писательством, я чувствую себя хорошо, но вот женщина, которая отдала мне все, не оставив для себя ничего, — видимо, и сильно потрясена в здоровье. Не дал я счастья жене своей и не умею дать и теперь. Для чего живет такой человек, как не спросишь?» Или, как писал прозорливый Чуковский: «Беременный живот для Вас дороже, чем лицо Рафаэля, чем голова Леонардо. Когда вы захотели похвалить когда-то Достоевского и Толстого, вы сказали: “беременные”, “чресленные” писатели (“В мире неясного и нерешённого”, с. 18) — и пусть читатель достанет прошлогодние “Весы” (восьмую книгу), — какими жаркими и душными словами Вы славите там эти неоскудевающие чресла библейских иудейских женщин. Вас всегда влекла к себе Библия — универсальный родильный дом — и, совсем не замечая Бога — Духа и убегая от Бога — Сына, Вы знали, и видели, и ощущали в этом мире, в этом родильном доме — только Бога — Отца, Бога — Акушера, Бога Сарры, Авраама, Иакова. Эта страстная, безмерная любовь к цветущей, чресленной, рождающей плоти, — как я чувствовал ее в каждой Вашей строке. В самом стиле Ваших писаний была какая-то телесная возбужденность, ненасытимость, какая-то полнокровность и похоть, — и если Вы правы, что гений есть половое цветение души, воистину Вы были гениальны, — и как убога наша “логика” и наша “грамматика” рядом с Вашим “чревным” и “чресленным” мышлением. Вы словно не мозгами тогда думали, а соками всего своего тела, — все так терпко, и томно, и душно на Ваших страницах. Мы все фрунтовики перед Вами, скалозубы, скопцы, наши строки так формальны и пресны, — мы умеем излагать лишь наши мысли и чувства (да и то до чего отдаленно); — Вы же всегда на бумагу клали всего себя, со всей своей “физикой”, со всей “физиологией”; и это делало самые вздорные, самые дикие Ваши слова такими же несомненными, как “несомненен” всякий организм, как бы он ни был уродлив, — а Ваши статьи почти всегда бывали организмами, живокровными, животрепещущими, — хотя сколько гомункулусов, выкидышей, недоносков, мертворожденных... Все Вам мило в области пола, все бури и смерчи». Это, плюс всем известные пассажи о здоровье жены и о том, что вся литература да и религия гораздо менее ценны творога с сахаром (и не важно, что в голод написаны. Или важно, конечно), говорят об одном — действительно важнее ему было это. Розанов — воистину первый философ, кто возвел еду, пол, здоровье, физиологию, то есть быт и жизнь такими, как они есть, без умозрительных нагрузок, в философию. А потом философию собственно и отринул, откинул. Только быт. И, заметим, все это на фоне тех еще исторических событий (например, расстрел царской семьи он как бы и не заметил,

точно не «осветил» в своем письме) и всей возвышенности философии Серебряного века (и это интересно, как он был искусителен и «заразен», что ли, ведь о.Флоренский, глубоко православный, воцерковленный, конечно, делает Василию Васильевичу соответствующие внушения, но так вполне терпеливо читает в переписке все то фаллоцентричное, похабное действительно часто, что Розанов ему сладострастно описывает).

Хотя стоит сказать точнее. Все это, непосредственная жизнь, быт здесь и сейчас не то что важнее для Розанова литературы. Литература для него — это лишь следствие жизни, одно из отдохновений и физиологических реакций. Свидетельство раздражения, следствие неустроенности жизни. Сам Розанов писал о не покидавшей его всю жизнь боли. Да и как без нее — то родных детей не дают в паспорт вписать, то вообще весь быт революция отнимает. Понял это прекрасно все же не близкий друг, но такой прозорливый барометр Блок. В письме Белому он пишет: «...Вся пружина его громадного (по-моему) творчества держится на трагедии (т.е., как всегда — борьбе, страдании и беспокойстве)».

Литература как следствие, статьи и книги — как физиологическая реакция. И освобождает, облегчает и — рубли и славу приносит. Этим объясняется и равноправное наличие профанного и священного в текстах Розанова. Как у Шершеневича:

Черпаками строчек не выкачать
Выгребную яму моей души.
Я молюсь на червонную даму игорную,
А иконы пишу на слом,
И похабную надпись узорную
Обращаю в священный псалом.

Но — недаром Флоренский сравнил Розанова с медузой, в воде разными красками переливается (а вытащишь — так идохлый невзрачный мешок) — Розанов даже в этой парадигме остается крайне разным. Противоречивым. Самовыпеченным, но сокрытым. «Упорное стремление В.В. сознательно исказить факты собственной биографии, произвольно меняя даты и переписывая задним числом историю, говорит само за себя. Не только в этом случае, но и во многих других. Верить нельзя никому, Розанову — особенно», — пожимает плечами Варламов. Это та самая цветущая сложность, которую постулировал Леонтьев, лежащий рядом в могиле (просто холмик) на бывшем кладбище Черниговского мужского скита Троице-Сергиевой лавры.

Как тонко подметила Гиппиус, «но к Розанову льнуло и православное духовенство, несмотря на его жестокие статьи по поводу христианства и Христа... чувствовалась в нем какая-то семейная теплота². А что он «еретик» — не беда: еретик всегда может вернуться на правый путь. И он, Розанов, считался в духовном мире немножко *enfant terrible*, которому многое прощалось... «церковники» — прятельствовали с Розановым, прощая резкие выпады по их адресу, вот почему: он, любя всякую плоть, обожал и плоть церкви, православие, самый его быт, все обряды и обычаи. Со вкусом он исполняет их, зовет в дом чудотворную икону и после молебна как-то пролезает под ней (по старому обычаю). Все делает с усердием и с умилением. За это-то усердие и «душевность» Розанова к нему и благоволили отцы. А «еретичество»... да, конечно, однако ничего: только бы постороже хранить от него себя и овец своих». Сам же Розанов отправлялся на крестный ход и сообщал во время его, что во Христа не верует³.

Противоречие? Для Розанова — нет. Варламов — кстати, в духе поливалентного Розанова — объясняет это с двух точек зрения. Первая — что он

был всем. «Розанов есть Розанов, и ничего к этому ни прибавить, ни убавить, разве что попытаться его разъять, разделить на части и брать то, что каждому кажется удобным. И многие так и делают, отчего В.В. предстает в иных толкованиях православным консерватором, в других — либералом, в третьих — модернистом, в четвертых — националистом, а он был — всем этим сразу и ни от чего не собиравшись отказываться». Был очень доброжелательным, милым, домашним — и ерепенистей его не было (вспомним пассажи у Венедикта Ерофеева, про то, что нет его оголтелых, душки такой). Перед властью всегда заискивал — а после 1917 года ходил по улицам и громко просил показать ему настоящего большевика и Ленина, уж очень он интересуется. Вторая версия — что, дала бы, скажем, для каких-нибудь идеологических нужд ему новая власть сметану⁴ и дрова, он бы и ее воспел, помести его церковь в теплый приют, он бы тепло всей Церкви почувствовал. Или выделили бы евреи надел, как он в конце жизни у них просил, к ним взывал. Ожидая не новозаветного Мессии, но ветхозаветного Мешеаха. Не умаления, аскезы, бесплодия и бесплотности, в конце концов, Христа, но процветания, полноты, обилия ветхозаветного⁵. «Придет» Мешеах, — когда вообще исчезнут зародыши человеческие, сморщатся, затянутся; не станет более семени; последнее зернышко в организме пропадет. Тогда «пришедший Мешеах» обновит, освежит, восстановит утробу человеческую; как бы соделается вторым Творцом человека, — в глубокой гармонии с Первым Творцом неба и земли. Это до того сообразуется со всем Ветхим Заветом, с тем вместе это так просто и естественно, так действительно, и нужно этого ожидать: ибо что же в мире стареет?! — что разительно, каким образом этого никому не пришло на ум? Каким образом не пришло на ум библейским толкователям, что вот в чем «заключается живая причина» необходимого, неизбежного «избавителя мира». Так это и сказано, и «обещано» уже при изгнании и первом «грехе человека». Тогда все становится ясно: Ветхий Завет прямо переходит в Апокалипсис, как таковое «воссоздание» сил человека, с усилением еще, с обилием большим, чем даже было в Ветхом Завете: но совершенно вытесняется Евангелие, сморщивается, его не нужно более, — оно совершенно не нужно, — как морализирующая книжка, лишенная какого-либо космогонического значения, творческого, созидательного, зиждущего, «спасительного». Именно «спасения»-то в нем и нет. Не «спасение» же это о «любви к ближнему своему». Это просто сантимент и ничто. Все «заповеди Христа» даны на уменьшение, и ни одной — на обилие: «не надо семьи», «дома», «гнезда»... Христианство решительно ошибочно. Евреи правы. Это есть спокойная, а не взволнованная истина... Полем восстания против Христа делается Россия».

И в этом — не именно в этом посыле, они-то у Розанова сменялись много раз и, по сути, ничего не значили даже в конкретном случае⁶ — и есть его экзистенциальный, мыслительный прорыв. Который можно сравнить только с таким же у Ницше. Как тот объявил христианство религией слабых, выдуманных слабыми для оправдания своей слабости, убогости и маргинальности, и вместо этого провозгласил — вернулся к языческому, античному, примордиальному? — религию сильных, веру вознесения, так и вертел ровно такими же вселенскими понятиями и Розанов. «Я — через 8 лет размышления разгадал тайну христианства, и наконец вот-вот теперь, эти 2 года — 1-й в истории цивилизации разгадал Личную Тайну Иисуса и узнал 1-й в человечестве: «кто Он» или «Кто он»... Я думаю, это прямо неизмеримо. Таким образом при посредственных способностях и всей слабости девушки; все так сложилось во мне и вокруг меня, что нежность-то и преобразилась в «утонченнейшую ярость», а кротость — в «храбрость курицы», кидающейся на повара или Повара, хотящего зарезать ее цыплят. И... Курица пошатнула весь

столб христианства. Я совершенно точно знаю, после моей “†” сейчас же религия начнет меняться, преобразовываться. Что христианство не выдержит, и не может выдержать “напора” робкой курицы или разъяренной девушки, и когда мне “†”, то в то же время мне победа, а “†” всему теперешнему теизму, ну а с ним и культуре» — такие пассажи легче даже представить, прочесть у сходящего с ума Ницше, Ницше на грани. И у Розанова. В этом его ультрамодернизм — за счет него он и популярен сейчас? И, конечно, интонации, что так заранее предвосхитили тренды последних лет вроде «новой искренности» и «автофикшна». Ультрамодернизм, который на поверку оказывается ультраконсерватизмом. Ибо есть возвращение к тому, что последние две тысячи лет было отвергнуто. А вот Василий Васильевич вспомнил вдруг. Как пишет Варламов по другому поводу, «едва ли это была справедливая оценка, он становился все известнее, и его позиция вырисовывалась все отчетливее. В том числе общественно-политическая, близкая к революционности, но не социалистической, не левой, а, напротив, ультраконсервативной, ультрамонархической и при этом действительно очень эмоциональной, гневной, возмущенной, уже тогда провокационной». Такая вот консервативная революция Василия Васильевича Розанова — до появления еще этого явления и термина.

Обыкновенный необыкновенный человек

Михаил Ишков. Вольф Мессинг. Взгляд сквозь время. — М.: АСТ, 2023. 368 с.

Вольф (Григорьевич) Мессинг — даже не столь важно, кем он был. Умелым шарлатаном, ловчайшим авантюристом, польско-германско-советским Калиостро. Просто освоившим так называемую идеомоторику — получение сведений о ментальных процессах других людей через считывание незначительных движений мускулов, мелкой моторики. Артистом по занятиям, исследователем неизвестного по призванию, немного к оному приобщенным. Первым советским экстрасенсом, которых так много развелось во время краха советского государства. Всем по чуть-чуть, никем (притворялся) или еще кем-то. Не так уж и важно. Через его жизнь большой красной линией проходит история не только нашей страны — и хотя бы поэтому ее нужно знать.

В книге ничего особенно прорывного, кроме пары изысканий в бюро находок истории, нет. Большой же массив взят из автобиографии Мессинга (с таким тщанием, что иногда вместо «он, Мессинг» идет повествование от первого лица). Все это автор — из тех, кажется, издательских биографов, что выдает биографии то Кортеса и Валтасара, то Сен-Жермена и Теслы (послужной список автора, а еще переводы, сценарии, фэнтези). Написано весьма бодро, залихватски даже, шутки из еврейского местечка и из кабинета на Лубянке. Пусть будет. Тем более что Мессинга давно широко не вспоминали, сериал с Безруковым не снимали (хотя фильмы о нем были, как не быть, персонаж явно и после смерти на сцену и в кадр просится).

«Карьера» в виде хедера и иешивы в беднейшем местечке под Варшавой любознательного мальчика никак не привлекала — в 11 лет он сбежал и оказался в Берлине. Где, упав в голодный обморок и пролежав пару дней в анатомичке в летаргическом сне, и получил вроде бы свои возможности. В частности — что

скоро было востребовано бродячими циркачами, — вот так впасть в анабиоз и лежать в выходные в гробу (в понедельник — в школу). А еще читать мысли, находить спрятанные предметы и иногда видеть будущее. Там же, в Берлине, он общался с Эйнштейном, наставлял его сам Фрейд.

Якобы. Потому что про мемуары Мессинга уже не раз было сказано, что многое там выдумка, с тем же Эйнштейном даже пересекаться он не мог. А вот выдумка ли? Заставший две войны, проживший в Германии и СССР в самые тяжкие их годы, все время становившийся игрушкой спецслужб, — Мессинг очень хорошо освоил еще одну сверхспособность: наводить туман, прятаться за камуфляжем из легенд, вранья, нужной именно в этот момент правды.

Мне эта версия кажется даже более справедливой, чем распространенная — мемуары больше сочинил, чем записывал, приставленный к Мессингу советский журналист. Правд и версий, как видим, полный набор, флэш рояль.

Zeitgeist Германии между двумя войнами с набирающими силу гитлеровскими молодчиками и не менее brutальными в своих средствах местными «красными» передан, кстати, весьма верно: «Берлин встретил их выстрелами, Северный вокзал — грязью и валявшимися на полу обрывками газет (что вообще было немыслимо для аккуратных берлинцев), улицы — редкими прохожими. Сгнули портреты “любимого кайзера”, нигде не слышно военных оркестров. Фонари стали редкостью, и с наступлением темноты улицы буквально омертвечились. Пока они добирались до гостиницы, до них изредка доносились вопли запоздавших граждан и вой одичавших собак. Ужин в гостинице оказался более чем скромный — бутерброд с сыром в ресторане стоил столько же, сколько бутылка самого дорогого шампанского, так что спать они легли на голодный желудок».

А дальше постепенно, но так неожиданно — Мессинг втягивается просто в круговорот шпионско-политических интриг. По мере того как его акции прозревателя вещей и будущего растут, он становится все популярнее. С ним встречается Гитлер, который подумывает привлечь его если не личным предсказателем, то на пользу рейха уж как-нибудь да сгодится. И тут еще одна характеристика, вполне претендующая на верность истине: «В Гитлере удивительным образом мешались вопиющая безграмотность недоучки и возвышающий фантазера полет мысли; вызывающая ограниченность немецкого бюргера и прагматическое умение внушить каждому, что нет такого вопроса, на который он не смог бы найти ответ, причем единственно правильный. Он мог заговорить любого собеседника, и чем более тот был ненавистен ему, тем неукротимее был поток обаяния, который Гитлер изливал на его голову. Как хотите, так и понимайте! Мое мнение — мнение Мессинга! — Гитлер был выдающийся мистик. Его уверенность в своей правоте поражала, восхищала, убаюкивала, заставляла признать — наверное, этот парень лучше нас с тобой знает, как добиться лучшей доли». Немецкие спецслужбы — и проходимцы вокруг них — не упускают шанса воспользоваться им. Коминтерн же хочет переправить его — как, скажем, и Зорге — на обучение и работу в Союз. В Коминтерне, кстати, а затем в НКВД, имелся свой отдел по работе, направлению паранормального на службу партии⁷ (направлялось плохо, отдел был впоследствии зачищен).

А еще и честолюбивый, еще часто наивный и охочий до роскошной жизни Мессинг принимает — или не может не принять — всякие деликатные поручения по работе Шерлоком Холмсом. Найти украшения, разгадать «понаехавшее» в замок привидение...

В результате — полный экшн (снимать бы уже Голливуду) в нуаровых тонах (Берлин, «Кабаре» и «Лили Марлен»). Его арестовывают, он бежит

(загипнотизировав охранников), скрывается, невесту сбивают на машине, его ловят, отпускают, спасают, он бежит.

В Польшу — где им играет уже Пилсудский, отправляет с личным письмом к Гитлеру обратно в Германию. Мессинг понимает, что обречен, и, со страхом и сомнениями, бежит в СССР, благо русским он, уроженец Российской империи, немного владел. Там начинается все прямо блестяще — бесплатная жизнь в лучшей гостинице, вполне удачная встреча со Сталиным (предсказал дату начала войны с Германией, предательство Власова, при этом смог ускользнуть как и от прямой службы, так и от опаснейшей опалы), благородные даже задания Берии (проверить одного юношу, немца, живущего в СССР, может ли он выполнить тайную миссию в Германии — Мессинг заодно спас его и выправил ему судьбу⁸).

Все это было слишком хорошо, чтобы долго быть правдой. Гнет Сталина, доносы, поиск вредителей и двурушников, военное время... Мессинга подставляют, заставляют стучать, отдавать все деньги на войну (он известен тем, что купил два самолета для фронта, и это уже никакая не выдумка), что только не... Все было довольно печально, вроде сломанной на допросе ноги, заключения и угрозы очень большого срока, если не стенки. Но больше всего это стилистически напоминает — пьесу по «Процессу» Кафки, поставленную персонажами из «Зоны» Довлатова. То есть какой-то даже смешной бред. Время, жутко чуравшееся сатиры и юмора над подобными вещами, но поневоле высмеивающее само себя. Вот первый эпизод, когда партийные функционеры Белоруссии решают, можно ли привлечь прибывшего артиста к работе, чем вообще считать его «психологические опыты» — утверждением примата социалистической науки, империалистическим обскурантизмом или, скажем, прямым наследием юродивых и прогрессивных Герцена и Белинского, что никогда не боялись рубить правду в лицо. Плюс — внутрипартийные интриги, последние вводные сверху, характеры и настроения самих функционеров... Воспринимается это сейчас как сюр и экстраваганза в духе «Петровых в гриппе» Серебренникова. Не менее абсурдными были и более трагические эпизоды уже на допросах — одно и то же имя вышестоящего покровителя/преследователя, даже интонация при его произнесении могли означать избавление, падение или же продолжение этих самых допросов.

Мессинг, державшийся то как пассивная жертва, то как Воланд на собственном шоу, как-то вырвался. Получил даже завизированную именем Сталина индульгенцию. И дожил свою жизнь в Советском Союзе. Как «обыкновенный необыкновенный человек». Возможно, кстати, самой обычной жизни он и хотел, с той сбитой невестой, в покое, разве что в достатке и комфорте. Но в ту эпоху, когда многие теряли в лагерях и, по Агамбену, «голую жизнь», даже за самое мизерабельное существование приходилось платить крайне высоко.

Мессинг женился, выступал, овдовел. «Мессинга либо не существует, либо он шарлатан. Правда, диагнозами, которые я иной раз выдаю высокопоставленным пациентам, кандидаты, доктора и академики с членкорами пользуются охотно. Этим и спасаюсь. Меня обижают, но редко».

Василий Налимов. Канатоходец. — СПб.; М.: Центр гуманитарных инициатив, 2022. 484 с.

Не часто балующие переизданием действительно значимых книг, наши издатели републиковали выходившие в 1994 году совершенно замечательные мемуары Василия Васильевича Налимова (1910—1997). Впрочем, просто

мемуарами их назвать сложно — они разнообразны, как деятельность самого Налимова, ученого-математика, философа, анархиста, отчасти мистика, политзаключенного, просто очень много сделавшего как в сфере прикладной и теоретической науки, так и в сфере мысли человека. В «Канатоходце» — рассказ о жизни самого Налимова и его родителей, изложение учения основателя мистического анархизма А.Солоновича и отдельные мемуары о руководителе Налимова в МГУ А.Колмогорове и, дискретнее, о Д.Андрееве⁹, выписки из только тогда открытых для доступа материалов следственного дела Налимова, протоколы его допросов и даже своеобразная инструкция, как себя нужно держать на допросах (вот как глубоко вошел под кожу этот ужас, хотя сам Налимов был далеко не робкого и не сломленного десятка), краткое изложение идей самого Налимова в философии и очерк его пути в науке, а также действительно многое еще. Все это, конечно, отнюдь не для объема и «потому что было» — а представляет собой тот сложный синтез, к которому и стремился сам Налимов. Вырастающий из такого разного и такого сложного.

Ведь прежде всего, «мои воспоминания написаны как летопись века. Летопись, преломленная через лично пережитое». Без каких-либо претендующих на последнее слово историософских выводов, Налимов для этого слишком умен, речь «именно о судьбинности, а не о смысле. Смысл истории для нас всегда закрыт, а судьбинность мы можем хоть как-то почувствовать, ощутить сквозь дымовую завесу разноречивости, закрывающую истоки происходящего от нас — непосредственных участников текущих событий». Тем более что и даже единого повествования тут быть не может — «да, Россия тех лет была многолика. Одним из ее ликов была часть интеллигенции, вдохновленная чуть приоткрывшейся свободой. Другим ликом были те, кто считал нужным все давить ради “светлого будущего”, в их понимании. Были и другие, но я их плохо себе представляю и потому молчу». Посему и такое название — и такая судьба: «Ураганным ветром всё размело. Остались только обломки от кораблекрушения — *les epaves*. А я, уцелевший в этой буре, вышел на берег... на канат. “Долг плясуна — не дрогнуть вдоль каната”¹⁰. Я все время пытался начать диалог, не откладывая и не прекращая усилий. Сейчас время изменилось, смягчилось. Можно отказаться от эзопова языка. Однако пропал духовный напор. Оскудела страна свободными мыслителями. Но верю, что должны появиться те, кто любит мысль как таковую».

Начинаются мемуары с рассказа об отце, матери. Они все погибли. Отца засосала репрессивная машина, мать как врача призвали, она скоро заразилась в госпитале и умерла. Собственно, так или иначе погибли почти все родственники и друзья. В первой войне, второй, в том, что было между ними... «А где друзья ранних лет моей юности? Если их или их семьи не затинула трясина репрессий, то они погибли во Второй мировой войне». «А где мои духовные учителя, чьи имена я чту и чье дело я пытаюсь продолжать в своих работах философской направленности? Я узнал только, что они были посмертно реабилитированы много раньше, чем я. Тюремные дела тоже полны парадоксов». Погибли, понимает Налимов, не только близкие и родные, малознакомые и дальние, но был выкорчеван целый слой, плодородная почва была перепахана и заасфальтирована (как то кладбище, где была могила Н.Фёдорова, скажем мы). «В плане духовном, видимо, все погибло. Иногда мне кажется, что я только один и продолжаю в своих работах ту, начавшуюся тогда, новую для России нить философского осмысления мира с синтетических позиций, готовых впитать в себя все богатство мысли как Запада, так и Востока, не чуждаясь ни многообразия религиозных представлений, ни научных построений, ни философских изысканий».

О трагичности и невосполнимости всего этого можно говорить долго, можно траурно молчать... Отмечу другое. Про то, что все это было не просто «полно парадоксов», но из них и состояло. Вокруг — и внутри системы, главным образом — царил тот абсурд, о котором мы говорили уже в связи с жизнью Мессинга. «Соединять “топологию” с “классовым расслоением” — безусловный абсурд. Но абсурд стал реальностью нашей жизни, протекающей над пропастями безумных ситуаций и событий, которые приходится преодолевать по шатким канатам, уходящим из-под ног. Я давно чувствую себя канатоходцем, и хорошо, если, взмахивая руками, я еще слышу шум крыльев за спиной... Надо было выживать в этом огромном театре абсурда». И посему, скажем, на предприятии, способном выдавать 300 тысяч тонн руды, сначала выдавали 200 тысяч — потом наращивали, чтобы показать перевыполнение плана. Новые обстоятельства дела Налимова уже после реабилитации были известны одному из обвиненных, но не судебным инстанциям — ибо все еще лежал гриф секретности. В Бутырке часы показывали разное время, чтобы дезинформировать заключённых. На заводе на Колыме, получая зарплату как ценный сотрудник, Налимов отчислял 20% охранникам — за охрану самого себя. Заготовители семян брали семена вареных яблок, из варенья. И так далее, и тому подобное, примеров — уйма.

Но, конечно, потеря родителей, всей семьи была даже при осознании всего этого никак не менее мучительной. Матери не хватало всю жизнь — ее чуть заменяла жена учителя Солоновича. Отец, настоящий self-made man, коми из дальних краев, возвысившийся, несмотря на свое происхождение и непримиримый принципиальный характер¹¹, до академических высот. Он, этнограф, много очень писал о своей родной земле. И это, даже в отрывках и пересказах, упоительное чтение. Как, например, зыряне на коленях просили прощения у домашних животных, если чем-то их до этого обидели. Деталь, кстати, не просто красивая, но важная, ибо укладывается в то представление о едином мироздании и синтетическом подходе к нему, которые и провозглашал Налимов¹².

Карьеру же отцу Налимова было сделать тем сложнее, что, отмечает автор, сильны были межклассовые перегородки. «Сдача экзамена за полный курс классической гимназии — это не только возможность поступить в университет, но и возможность приобщения к культуре русской интеллигенции, эзотеризм которой охранялся трудностью получения классического образования; одновременно это и переход в другое сословие. Таким образом, гимназия оказывалась и барьером, разграничивающим сословия, — барьером надежным, практически почти непреодолимым для выходцев из других слоев, хотя дорога и не была абсолютно перекрыта. Россия всегда была сословно структурированной страной, остается она ею и в наши дни. Раньше фельдшер не мог быть приглашенным в гости к врачу, пусть даже они вместе стояли за одним операционным столом — вместе несли ответственность. Так же, как, впрочем, сейчас уборщица не может быть приглашена в гости к профессору». Затем, кстати, эти классовые преграды поменялись в другую сторону — если до революции в университет могли поступить только окончившие классическую гимназию, то после революции, наоборот, вход им был закрыт, учиться могли только рабочие и прочие классово благонадежные...

Подобные исторические зарисовки — еще одна прелесть и ценность этой книги. Как жили купцы в торговом Нижнем Новгороде, где служил учителем его отец. Как, например, послереволюционные активисты пытались отменить в высших учебных заведениях орфографию, наследие царских времен. Чего стоят только тюремные зарисовки из Бутырки, когда там отчасти еще, как особо подчеркивает Налимов, сохранился благородный дух революционных сидельцев. А уж его годы заключения на приисках и, когда воспользовались-таки его

научными и практическими знаниями, на производстве Магадана — это местами не уступает Шаламову, равно ему, ведь един был у них и опыт... Чтобы не приводить цитаты об ужасах умирающих от недоедания и непосильных норм работы «доходяг» (вот он, термин для «голой жизни», задолго до Агамбена, наш, увы, копирайт на него) или же о бесчинствах «блатных», поставленных, попущенных руководством лагеря для своеобразного надзора и, термин уже нынешний, более чем своеобразного прессования «политических», — о том гармоничном, что обнаружил Василий Налимов в этих иногда буквально людоедских условиях. Природе: «Вот вдруг и кладбище лесное — засохшие высокие лиственницы серебристо-серой окраски с сучьями, как с расprostертыми руками. Они не падают, не гниют — так и стоят, как мертвые стражи здешних мест. А если пурга, то на несколько дней. Заметает все дороги, сбивает с ног идущих, вот где “на ногах не стоит человек”. Сила удивительная — мощь океанского шторма. Соседнее Охотское море — море, открытое всем ветрам океана, почему-то названного Великим, или Тихим. Где же его тишина? А ранней весной снег блестит отраженным солнечным светом с ослепительной яркостью. Без защитных очков достаточно одного дня, чтобы ослепнуть навсегда. Днем можно загорать без рубашки, а чуть стемнеет — температура падает до -30 °С и ниже. Я любил ходить зимой лесными тропами. Отдаешься целиком природе. Сначала сквозь созерцание ее вспоминаешь прошлое — радостное, навсегда ушедшее; потом вспыхивают мечты о будущем, а затем переходишь в состояние радостного безразличия — слияния со свободной природой. Забывается прошлое, теряется будущее, остается замедленное дыхание природы, смена ее красок. Ты погружен в нее. И только». Очерки же научной жизни то в ссылке, то в МГУ — это тоже лес, только дантовский такой, политических, идеологических и человеческих чудений арабески.

Но мы ведь помним, что «Канатоходец» — совсем не только мемуары. Имплицитно или явно здесь даны и взгляды Василия Налимова. И не только его, а и близкие ему, например, наставника и одного из основателей движения мистического анархизма Солоновича¹³. Так, ученому Налимову явно импонирует такой «антисциетизм»: «Раньше, чем объяснить, наука должна убить — ясно, что и ее выводы мертвы. Они годны для овладения природой, для накопления ее, для власти над ней, но не для того, чтобы жить с природой, понимая под природой и самого человека». Или же такой вот, совершенно в традиции «Розы Мира» (витало это тогда в ноосфере, почему было общим для многих? — очень интересная, но другая сейчас тема), пассаж, видение иерархии миров: «Конечно, есть и еще более высокие миры — они идут в бесконечную высь — это миры духов различных категорий и степеней совершенства...»

Подобное видение мира — глубоко созвучно представлению Налимова. Как и «Несвоевременные размышления» Ницше, они направлены «против духа современности и тем самым на современность», «в пользу грядущего времени». Например, в связи со взглядами еще своего отца¹⁴ он отмечает: «Углубляя эту тему, можно сказать, что устремленность к беспредельному господству над природой привела к технизации культуры во всех ее проявлениях — возникло, говоря словами Хайдеггера, новое «мироустройство». И нам сейчас становится ясно, что в этом новом мироустройстве человек потерял самого себя, утратил связь с глубинными — внелогическими уровнями сознания, порождающими смысл жизни в их связи с природой, а через нее и с вселенским началом жизни. Утрата смыслов породила отчужденность человека от нового образа жизни. Отсюда многие негативные явления, охватившие современный цивилизованный мир. Отсюда и отчетливо оформившийся сейчас, особенно в США, поиск будущего через возврат к

прошлому в новом его осмыслении. Широкий общественный интерес к дохристианским религиям — не только к таким философски утонченным, как буддизм, но и к народным, включая шаманизм¹⁵; обращение к медитации как средству духовного оздоровления; обострение интереса к изучению и даже управлению сновидениями, научный интерес к психоделикам как к средству изменения состояния сознания. Новый ренессанс».

До нового ренессанса, как мы знаем, совсем не дошло, скорее до нового и — еще один нынешний мем — «страдающего Средневековья»¹⁶. Но Налимов, нужно отметить, давно еще осознавал и писал о необходимости альтернативы нашему рациональному и, следовательно, ограниченному мышлению.

Ограниченность и зашоренность же по определению обречены, ибо они дают доступ лишь к очень узкой прослойке смыслов бытия — единого бытия, сложного, но гармоничного (синтетического, в налимовской терминологии): «В наши дни стало принятым обращаться к представлению о планетарном сознании. Открылась возможность говорить о Земле как об одухотворенном живом существе. В нашем мировоззренческом лексиконе опять зазвучало слово Гея — греческое имя животворящей богини Земли. Можно думать, что наша мысль созреет и до того, чтобы вернуться к видению Универсума как некоего образования, наделенного какой-то особой формой сознания. И тогда, наверное, не покажется странным и древнее представление о том, что человек в своей космической протяженности может странствовать не только в веках, но и в мирах Универсума. Здесь мы ограничимся кратким обсуждением природы планетарного сознания. Оно не может нами мыслиться таким же, как сознание человека. Оно не открыто миру так, как открыто ему сознание человека. Оно не создает тексты. Оно существует как некая непроявленная потенциальность. Планетарное сознание не командует. Человек остается открытым всему многообразию созревших возможностей. За человеком остается свобода выбора, свобода творчества. Человек действует спонтанно, пристально вслушиваясь в то, что созревает в планетарном сознании». И тут можно, если настойчиво и въедливо копаться, найти отсылки к очень многим мыслителям, от русских космистов до Теренса Маккенны¹⁷. Но надо ли? Мы имеем дело не с искусственным эклектизмом, а со свободным движением мысли, откликающейся на настойчиво присутствующие в ноосфере, то есть в планетарной и совершенно обычной, сигналы. Сигналы SOS¹⁸.

Тем более что инкорпорировать чужие идеи, даже опубликовать их, делать всеобщим достоянием — вещь всегда тонкая и деликатная. Как пишет Налимов по несколько другому поводу, «эзотеризм лишь слегка приоткрыт — без вульгаризации, с которой так часто приходится встречаться». Однако речь совсем не об элитаризме и прочем снобизме: «Не нужно думать, что эзотеризм — это нарушение демократии. Наука также по-своему эзотерична — никто не может без специальной подготовки постигнуть содержание серьезных книг по математике или теоретической физике. Популяризация науки только вульгаризирует ее. То же относится к искусству. Хорошо поставленное обучение в университете — это тоже своего рода посвящение: профессор передает своим ученикам нечто большее, чем есть в учебниках. Он создает интеллектуальную атмосферу, в которой обучается студент». Подобную атмосферу создает эта книга, более чем.

«Я, должно быть, должна поверить, что мне 90 лет...»

Анастасия Цветаева. Букет полевых цветов / Сборник очерков, откликов, статей, эссе, рецензий. — М.: Серебряные нити, 2023. 480 с.

Варламов в своей биографии Розанова отмечает моменты общения Анастасии Цветаевой с Розановым. «Я чувствую в 19 лет так же глубоко, как Вы чувствуете в 60», — описывала Цветаева в письме свое восхищение от «Уединённого». Затем они переписывались, несколько раз встречались (она это фиксировала, записывала), Розанов даже «заочно» крестил сына Цветаевой Алексея. Через годы, впрочем, писала Горькому, что не терпит Розанова «за одержимость полем, за дикости о евреях... Розанов путался в отношении к евреям, а я таинственно и с тоскою за судьбу их, сплошным восхищением люблю» (в мемуарах и добавляла, что «стыдила его за безобразную книгу о деле Бейлиса»).

Пересказываю эти сюжеты я не (только) для того, чтобы перекинуть связи между персонажами и книгами. Они и так все связаны — тот хорошо известный случай, когда интеллектуальное бурление обширно, а центр его, прослойка — узкий каст хорошо знакомых друг с другом людей. Нет, дело в том, что все это достаточно символично, хорошо передает содержание книги. «Букет полевых цветов», который в плане мемуарных свидетельств можно рассматривать как дополнение, пандан к ее же «Воспоминаниям», не только весьма дискретен и пёстр — закономерное дело для «диких» цветов, чай не икебана, — но и, да, субъективен, страстен даже.

Содержание — воистину пёстрая лента. Кроме собственно воспоминаний — об отце (пал жертвой клеветы, интриг тогдашнего министра — немного напоминает бюрократические перипетии Налимова), матери (здесь Анастасия Ивановна дискутирует уже с Мариной, с ее «Мать и музыка», где несправедливо про мать, про ее усилия отвратить Марину от литературы и обратить к музыке), о самой Марине, разумеется (и кроме собственно мемуаров, о таком, например, дотоле незатронутом, как Марина и ее жилье, выбор его, тут опять же дискуссия, восстановление правды — в частности, про ошибки, неверные оценки и акценты в биографии Саакянц). И о себе, конечно, хотя далеко не в первую очередь. Как была арестована в первый раз, во второй. Об этих арестах — практически ни слова. Не только потому, что о той же ссылке в Сибирь в книге «Моя Сибирь», а просто потому, что здесь действительно потрясающий тон, подход — особенно у мемуаристов, особенно сейчас, когда каждый блогер каждую тень своих ощущений за завтраком и сам завтрак запечатлеть для человечества считает нужным: о других, понять и простить, о себе если, то повиниться в каких-то не до конца выдержанных тогда реакциях...

Это воспоминания — о том, что прошло, так далеко, так невозвратно. «Я, должно быть, должна поверить, что мне 90 лет...» И даже больше. И что она единственная, кто еще жив, еще помнит. О том, что было утрачено так давно: «Увы, я в Тарусу в следующий раз попала в 1937 году. Добротворской уже не было в Тарусе, меня с 25-летним сыном арестовали и увезли на Дальний Восток, в лагерь, на 10 лет. И я не знаю, где Тётина могила. Кто помнит ее теперь? Кто завладел имуществом Тёти и дедушки? К кому попал чудный дедушкин рояль, шкафы с иностранными книгами. У кого висит портрет дедушки, в рост, углём, где, как живое, его лицо? И где часы, вывезенные им из Вены, под которыми

раскрывались створки волшебного шкафа, и коробки с крышками, в которых крылись знаменитые мелодии классика и нам, в конце Марининой юности, звучали вальсы Шуберта. В 1941 году немцы в Тарусе похозяйничали, сожгли липовую Тётину аллею. Тот Тётин, со швейцарским укладом, дом, мне бесплодно завещанный, стал сном...»

Из сна забвения она извлекает — благо на память почти не жалуется! — очень и очень многие темы. Диалог с Волошиным, оценку книг Флоренского, ещё и ещё рассказы о Марине, поездку к Горькому на Капри, такие же большие, очень любящие воспоминания о Пастернаке, поменьше — о Бердяеве. И ко всему этому самые разнообразные рецензии — на книги Рюрика Ивнева, о знакомых художницах, целый блог рецензий о книгах об ученых-ботаниках...

При этом какие-то темы заметок у Анастасии Цветаевой выглядели бы остроактуальными в современной хоть прессе, хоть блогосфере (различий тут чем дальше, тем меньше). Она пишет об уродующей Сергиев Посад современной застройке и, весьма сочувственно для религиозного, воцерковленного человека, о вопросе гейства. Или об экологическом в широком смысле слова — о том, например, что у животных есть душа: «Да, животные безгрешны. Грех, так знакомый человеку, животным — неведом. И животные, как и ангелы. Жалеют нас за эту великую разницу. А о том, как человек обращается с животными, — лучше не говорить. И нет слов». О милости к животным, их равенстве с людьми, если не превосходстве, пишет много в последние годы наш замечательный философ Татьяна Горичева.

При всей этой дискретности можно, впрочем, проследить и историю духовного развития самой Анастасии Цветаевой. Ницше и Ибсен в юности. И чуть ли не заигрывания с нигилистическим и сатанинским, как у Владимира Соловьёва, отчасти Розанова и у довольно немалого количества деятелей Серебряного века. Здесь полностью явлен мотив богооставленности: «И я открыла тетрадь и стала писать о том, что нас создали и забыли, и в звучании строк было столько же гордости, сколько и отчаяния, но отчаяния своего я не понимала, а только гнулась под гнетом мирового “нет”. ...И, купаясь в мировом, космическом “нет”, я сознавала свое королевское одиночество¹⁹, и я назвала тетрадь свою “Королевские размышления”».

Отсюда и духовные поиски. Теософия со столь любимым Белым (хотя потом и последовал разрыв) Штейнером, на периферии — анархисты. А Марина — «она в 10 лет выглядела рослым подростком — стала жарко проповедовать безбожие». И увлеклась революционными идеями и литературой, за что и была изгнана из гимназии. Скоро это у нее прошло.

Анастасия же прошла через участие в настоящем тайном мистическом обществе — за что и поплатилась первым арестом. Как Даниил Андреев, как Налимов — мели всех, кто просто один раз слушал, заходил, переписывался с участником. Было ли это общество действительно таким уж тайным и обществом? Скорее, кружком, чем-то вроде масонского собрания-салона. Встречались, обсуждали. Хотя формально группа, называвшаяся Lux Astralis, и считала себя орденом розенкрейцеров²⁰, «доктрина этого Ордена была близка к христианской православной Церкви». Впрочем, все тайные общества грешат этим — много эклектики, мало конкретики²¹. Но у тех же тамплиеров, которых упоминает Налимов и о которых пишет в работе А.Никитин, с тамплиерами настоящими есть одно существенное сходство — и тех, и этих покарали жесточайшим способом, практически уничтожила государственная машина.

Однако, как говорит Цветаевой Максимилиан Волошин в «Разговоре с М.А.Волошиным», «этот бунт может быть ближе к богу, чем вера. Не забывай, что

пути к богу различны. Ты помнишь слова Христа о том, что в царствии небесном больше радуются обращенному грешнику, чем девятости девяти праведникам...» (вспомним, кстати или некстати, умирание Розанова с несколькими причащениями...). И, довольно скоро фиксирует Анастасия Цветаева, апостасийность оставляет ее: «...Туман рассеивался. И тихий свет Православия высветился в душе...»

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Напоминание о том, что Розанов был не только эссеистом, но и, на раннем этапе своего творчества, философом, мне в последний раз встретилось: *Иванова Е.* Ключ к розановской «Россиаде». Издание В.В.Розанова: методы и подходы // Новый мир. 2023. № 4. С. 206.

2 Тут есть и другой аспект, выраженный Брюсовым — «и Господа, и дьявола равно прославлю я». Все это вполне вписывалось в экспериментаторский, на грани трансгрессии и фола, характер эстетических — да и жизнестроительных — поисков Серебряного века.

3 При этом в Бога Отца — ветхозаветного, еврейского — верил. Имея с сакралитетом очень личные отношения, как у Экхарта, у мистиков вообще.

4 Можно вспомнить из Александра Тинякова:

Не нужны ни солнце, ни птицы,
Ни правда, ни совесть, ни честь,
Ни прелесть весны и столицы —
А только б дорваться — поесть.
Кусок ароматного хлеба,
Тарелка наваристых щей
Прекрасней лазурного неба,
Дороже великих идей.

С Розановым Тинякова, «Смердякова русской поэзии», сближал не только факт личного знакомства и любезной переписки, но и сходные обвинения — оба печатались как в «черносотенных», так и в «прогрессистских» изданиях и муки совести по этому поводу испытывать отказывались.

5 Уместно вспомнить такую характеристику воззрений Розанова от А.Введенского как полопантеизм (эротический пантеизм).

6 Здесь уместно, кажется, вспомнить из Ницше: «Мы должны стать предателями, совершать измены, покидать свои идеалы» / «Этот мыслитель не нуждается ни в ком, кто бы опровергал его; он сам удовлетворяет себя в этом отношении!» А также из Лу Саломе: «И подлинным результатом нашего созерцания феноменального творчества Ницше будет не то, что нам откроется сущность нового мирозерцания, а то, что мы увидим картину человеческой души, совмещающей в себе величие и болезненность. Философское значение исканий Ницше открывает свою глубину тем, кто замечает, что изменение воззрений отражается всякий раз на всем существе Ницше. Изменяются не только внешние очертания теорий, но и все настроение, окружающая атмосфера и все освещение. В то время как мы следим за сменой одних мыслей другими, мы видим низвержение целых миров и воздвижение новых». (*Саломе Л.* Ницшеанка // Эротика / Пер. с нем. Л.Гармаш. — М.: Рипол классик, 2022. С. 243.)

7 В книге достойная характеристика подобных импликаций мистических дел: «...Масонство и подобные ему тайные организации, тем более всякого рода замешанные на оккультных дрожжах политические заговоры (например “жидомасонские”, “коммунистические” или “империалистические” вкуче со всякого цвета «демократическими»), имеют самое приблизительное отношение к тайнам человеческой психики. Это, скорее, спекулятивный и корыстный ответ на естественную потребность человека в тайне».

8 Этот сюжет отдельно увлек М.Ишкова — см. его книгу «Супердвое. Версия Шееля» (М.: Вече. 2012).

9 Даниил Андреев, наш величайший вестник, очень близок Налимову. Они были хорошо знакомы (Налимов называет Андреева Даней), дружили семьями, первой жене Налимова Андреев посвятил свой пропавший в подвалах Лубянки роковой роман «Странники ночи». Налимову оказывается близок как визионерский и мыслительный опыт Андреева, так и его биография сидельца — именно «Странники» послужили поводом для дела о целом кружке, гребли всех, кому Андреев читал свою рукопись, и буквально чудом это еще тогда не задело Налимова. Едва ли не главное, что максимально сблизжает этих двух действительно выдающихся, в том числе оригинальностью своей мысли, людей, это то, что, для Налимова, «Даниил Андреев, поэт и писатель, пройдя суровые испытания допросами и годами политизолатора, попытался, говоря словами Г.С.Померанца, отобразить художественно современную мифологию зла». Не потому ли, что книга Налимова во многом о том же самом, в ней так много Андреева — будь то эпиграфы и цитаты из его поэм или же разбор выступления Налимова на андреевской конференции.

10 В связи с балансирующим походом над бездной истории вспоминается не только ярмарочный канатоходец из «Заратустры» Ницше, но и призыв из песни С.Калугина «Прыгай в огонь». В огне, падении и снова подъемах прошла значительная часть жизни Василия Налимова.

11 Ко всему прочему, как и тот же Мессинг, Налимов-старший сторонился всех идеологических «измов»: «Да, отец был островитянином. Его политическая программа (может быть, никогда отчетливо и не осознававшаяся им) состояла в том, чтобы сохранять свое право и право других на островное существование в бушующем море жизни. Право оставаться самим собой, право высказывать свое мнение, не навязывая его другим через власть и насилие. Любая партия в этом смысле ему представлялась неприемлемой. В любой из них он видел прежде всего стремление к самоутверждению, к самовозвышению над обществом. Марксизм ему был чужд еще и потому, что он как этнограф-практик, знающий народ не книжно, а непосредственно, не мог признать представление о приоритете классово-борьбы в развитии общества, в раскрытии личности».

12 Конечно, не только он один. Можно вспомнить и Розанова с его поисками, жадной религиозного синтетизма, обращением к язычеству, к идее семени-дерева, его работу «О понимании» (единство в контексте антики). Да и многих в начале того века.

13 Налимов сам отмечает, что мысль Солоновича была скорее «естественной», хотя бы в силу того, что с работами многих философов он был незнаком. Но как же она иногда поэтична! «Совершенно подобно облакам на небе и их игре — играют и пляшут свой танец атомы... То соединяясь, то разъединяясь, как облака, они образуют то одну, то другую конфигурацию... Но никакой ценности и никакого критерия сравнения нельзя применить к этим конфигурациям...»

14 Тот, не будучи и атеистом, и даже партийным, выступал против «узости Православия с его нетерпимостью к инакомыслию». Сам же Налимов обращает

внимание на то, как самая прекрасная мысль грозит стать подавляющей идеологической схемой, веригами на свободном духе: «Как легко любая серьезная мысль, любое движение обращается в идеологию! Может быть, это самая главная опасность в развитии культуры. Чем сложнее, насыщеннее становится культура, тем больше опасность ее идеологизации. Это надо помнить. Это обычно хорошо понимает молодежь. Она часто бездумно начинает протестовать против самой культуры, создававшейся отцами и матерями». Именно для борьбы как с марксизмом, так и прочими идеологиями и задумывался мистический анархизм: «...Борьба с догматизмом в религии, философии, морали и политике — вот лозунг мистического анархизма».

15 О шаманизме и психоделии, которым был посвящен предыдущий выпуск моей рубрики («Дружба народов», март, 2023), в «Канатоходце» неожиданно изрядно. В частности, он предлагает исследовать зырянский шаманизм через образ Дона Хуана у Кастанеды и опыт того региона — действительно, книги о шаманизме наших северных народностей и о мезоамериканских шаманах соположились, как мне кажется, в той подборке весьма ладным образом, так много оказалось у них общего... Впрочем, так ли неожиданно возникает тема магов и целителей у Налимова, если дед его был северным магом, отец тоже владел, сохранил какие-то способности. И пытался использовать эти практики для внушения на допросах — ровно как пишет (слегка выдумывает?) Мессинг, что выходил от немцев из камеры просто так, а на Лубянке нет, такое не прошло, но программировал свидетелей, те на допросах не выступали против него, внушал совершенно воландовские видения и следователям (что, например, его пытали и завязали узлом руку). Видит, как и Мессинг, Налимов злую магию «на самом верху», у власть предержащих: «Власть, особенно деспотичная, всегда магична. Она основана на готовности быть бездумно принятой многими во имя какой-то идеи. Разве не оказались в роли мрачных магов наших дней Муссолини, Гитлер, Сталин, Мао? Теперь мы ищем логику — хотим найти цепочку причинно-следственных связей там, где действовала магия. Революция в нашей стране разрушила не очень прочно державшиеся наслоения слегка европеизированной культуры и вернула народ в исходное, архаическое состояние сознания, и естественно, что появился вождь — верховный маг. Магия и сейчас не ушла из нашей жизни — она только притаилась под покровом навеянного наукой позитивизма». Впрочем, тут Налимов, Мессинг и Даниил Андреев (с его представлениями об уицраорах, демонических воплощениях государственности) далеко не одни, надо полагать...

16 Изначально — сообщество в Рунете, ныне — целая издательская серия книг.

17 Опять же персонаж предыдущего выпуска рубрики.

18 «Ныне, не забыв еще старых распрей, мы быстро приближаемся к новой — теперь уже не национальной, а планетарной катастрофе. Кто ее готовит? Наверное, все те, кто, будучи погруженным в повседневность своих забот, не ощущает ответственности за происходящее, не проявляет Заботы». Догадывался в те годы Налимов, в частности, и о том, что свободный рынок с его корпорациями далеко не так свободен, как это декларируется, что США ждут социальные катаклизмы (насилие на улицах то по поводу BLM, то по поводу неизбрания Трампа мы могли наблюдать совсем недавно).

19 Вряд ли об этом знал швейцарский писатель Кристиан Крахт, эстет, декадент (в те годы точно), создавший манифест, литературное объединение и книгу под названием *Tristesse Royale* — «Королевская грусть».

20 См. у Налимова: «Судя по отрывочным данным, мистический анархизм в 20-е годы (за короткий промежуток времени) получил весьма широкое

распространение среди творческой интеллигенции — ученых, преподавателей вузов, художников, театральных работников из разных городов страны. Были контакты и с неконфессиональными духовными течениями. Где-то на Кавказе — контакты с сектантством. Была сделана даже попытка войти в соприкосновение с юношеством (скауты). Регулярно читались лекции на мировоззренческие темы в небольшой подвальной аудитории Музея Кропоткина; собиралось там, кажется, человек 70 или даже 100. По-видимому, точных данных о широте движения мы никогда не получим, даже если полностью откроются архивы, так как ради конспирации использовались различные наименования движения: Братство Параклета, Орден Духа, Орден Света, Орден Тамплиеров и кто знает, какие еще».

21 Об интереснейшей проблеме тайных обществ в это советское время см., например, книгу А.Никитина «Орден российских тамплиеров. Документы 1922—1930 гг.» (2003). Еще более интересную тему участия в этих кружках писателей явно даже не начинали исследовать — художественные мысли вокруг фигуры Д.Андреева периода его «Странников ночи» в романе Д.Быкова (внесен в РФ в список иноагентов. — *Прим. ред.*) «Остромов, или Ученик чародея» не в счет.